



Иван Бунин

Жизнь Арсеньева. Юность

«ЭКСМО»

1930

Бунин И. А.

Жизнь Арсеньева. Юность / И. А. Бунин — «Эксмо», 1930

ISBN 5-04-002265-4

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак...». Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи... Бунин не писал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.

ISBN 5-04-002265-4

© Бунин И. А., 1930

© Эксмо, 1930

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
I	5
II	7
III	9
IV	11
V	13
VI	15
VII	16
VIII	18
IX	19
X	21
XI	23
XII	24
XIII	26
XIV	28
XV	30
XVI	32
XVII	34
XVIII	35
XIX	36
XX	38
XXI	40
КНИГА ВТОРАЯ	41
I	41
II	42
III	44
IV	46
V	48
VI	49
VII	51
VIII	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Иван Бунин

Жизнь Арсеньева. Юность

КНИГА ПЕРВАЯ

I

«Вещи и дела, еще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства пре-
даются, написанные же яко одушевленные...»

Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе.

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, – тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, – и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. «Вот было бы счастье!» – хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил бы я жизнь так, как люблю и любил?

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый», и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени В Духов день призывает церковь за литургией «сотворить память всем от века умершим». Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву:

– Все рабы твоя, Боже, упокой во дворах твоих и в недрах Авраама, – от Адама даже до днесь послужившая тебе чисто отцы и братии наши, други и сродники!

Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие «с отцы и братии наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращуры учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их – жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван, этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возражать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего.

Среди моих предков было, верно, немало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине – перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу остриями три рапиры с крестами-рукоятками.

В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь загложивших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда – и недаром – царит какая-нибудь серая башня времен

крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий господний глашатай, зовущий к небесному Граду.

II

Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновенье! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызвали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...

Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, – хутор Каменка, – главным имением нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла... Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же – только тут еще блещет низкое солнце – и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, – затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат, да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивлением разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, – и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, – и как изящно! – жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки...

А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день: теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек

какого-то старинного столика, – и, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?

III

Детство стало понемногу связывать меня с жизнью – теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события...

Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине, – а дело было уже к вечеру и места были очень глухие, – густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника «разбойник», с топором, засунутым за пояс, – самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в такой величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительней оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле, – а я видел много! – такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великих радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: «В аккурат сапожки!» – и ременную плеточку с свистком в рукоятке... С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой ременной плеточки! Дома, лежа в своей кровати, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо!

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир – поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля: на самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов, – в нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка, он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты, – и стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, что я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-

то страстной и мрачной мечты... Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь – есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало: я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания, особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине, с топором за подпояской. Но то был разбойник, – я ни минуты не сомневался в этом, – то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка...

IV

Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайны, разрозненны: что, повторяю, мы знаем, что помним – мы, с трудом вспоминаящие порой даже вчерашний день!

Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства.

Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им и вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает, – он, и правда, проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского; что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом; что, проснувшись после обеда, он любил сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно-шипящую и восхитительно-колющую в нос воду с кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем так же внезапно ссаживает, не любя ничего длительного... Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямою переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, – он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух, – и так хорошо, задумчиво, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен...

Заметил я наконец и нянюку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской этой большой, статной и властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится (и довольно часто) с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы; зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием: я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей, девочкой горячеей, легко, как отец, вспыхивающей, но тоже очень доброй, чувствительной, вскоре сделавшейся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого...

С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, – чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней – к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!

В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые

кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках? «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».

V

Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете, – я заплакал, я позвал, разбудил отца... Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди.

Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их – в детской душе остается больше всего яркое, солнечное, и поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего две-три темных картины, да и то потому, что были они необычны: какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами, – ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает «на Сорок Мучеников», очаровательным же по той причине, что, чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте; потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное: проснувшись, мы увидели странный сумрак в доме, увидели, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, – и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день; и наконец какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развешивающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучок... В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужичьими ребятишками из Выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за Провалом, в версте от нас.

Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. (Все человеческие радости бедны, есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе.) Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, – только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, дивясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом, – так они неприхотливы, первобытно-просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту, познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю, в долгие летние дни его, и вижу: жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав, а там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, – они так стары, что толстые соломенные крыши их серы и плотны на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми, – там зной, блеск, роскошь света, там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей густоте, буйности, и бегут, бегут по ним тени облаков...

Потом оказалось, что среди нашего двора, густо заросшего кудрявой муравой, есть какое-то древнее каменное корыто, под которым можно прятаться друг от друга, разувшись и бегая белыми босыми ножками (которые нравятся даже самому себе своей белизной) по этой зеленой

кудрявой мураве, сверху от солнца горячей, а ниже прохладной. А под амбарами оказались кусты белены, которой мы с Олей однажды наелись так, что нас отпаивали парным молоком: уж очень дивно звенела у нас голова, а в душе и теле было не только желанье, но и чувство полной возможности подняться на воздух и полететь куда угодно... Под амбарами же нашли мы и многочисленные гнезда крупных бархатно-черных с золотом шмелей, присутствие которых под землей мы угадывали по глухому, яростно-грозному жужжанию. А сколько мы открыли съедобных кореньев, сколько всяких сладких стеблей и зерен на огороде, вокруг риги, на гумне, за людской избой, к задней стене которой вплотную подступали хлеба и травы!

VI

За людской избой и под стенами скотного двора росли громадные лопухи, высокая крапива – и «глухая», и жгучая, – пышные малиновые татарки в колючих венчиках, что-то бледно-зеленое, называемое козельчиками, и все это имело свой особый вид, цвет, запах и вкус. Мальчишка-подпасок, существование которого мы тоже наконец открыли, был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портчонки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивал и нас есть Бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал! Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута...

Но уж где было настоящее богатство всякой земляной снеди, так это между скотным двором и конюшней, на огородах. Подражая подпаску, можно было запастись подсоленной коркой черного хлеба и есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях, красную редиску, белую редьку, маленькие шершавые и бугристые огурчики, которые так приятно было искать, шурша под бесконечными ползучими плетями, лежавшими на рассыпчатых грядках... На что нам было все это, разве голодны мы были? Нет, конечно, но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир. Помню: солнце пекло все горячее траву и каменное корыто на дворе, воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее и, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском, стали где-то, в самой глубокой и звучной высоте своей, погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и разражаться мощными ударами, да все полновеснее, величавей, великолепнее... О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом, все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, в доме у нас закрыли и завесили окна, зажгли «страстную» восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью вдыхая невыразимо-отрадную сырую свежесть пресыщенных влагой полей, – когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке, за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее! Мало было в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его...

А затем, постепенно смелея, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно, Провал, Выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая жизнь, а растительная и животная больше всего влекли к себе наше внимание, и все еще самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было, а часами – послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам; в нем хороши были только дебри и чащи, птичьи гнезда (особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных из прутьев и усталых чем-то мягким и теплым, сидело и зорким черным зернышком смотрело что-нибудь пестро окрашенное) да малинники, ягоды которых были несравненно вкуснее тех, что мы ели с молоком и с сахаром после обеда. И вот – скотный двор, конюшня, каретный сарай, рига на гумне, Провал...

VII

Всюду была своя прелесть!

На скотном дворе, весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свинными закутами.

В конюшне жили своей особой лошадиной жизнью, заключавшейся в стоянье и звучном жеванье сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело ложатся лошади. Это случилось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер, что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожидании запряжки, в исполнении своего странного назначения на свете – только возить, только бегать... Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.

А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно занятный и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки, был не похож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого, многого к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая, ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крестнакрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, возок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко, далеко... Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель... За горами, за долами, за синими морями... Царь-Девница, Василиса Премудрая...»

А рига была пленительно-страшная своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все-таки черт по ночам прилетал туда, и это

соединенье – черта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А Провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с обрывистыми скатами и знаменитым «провалом» на дне, которое зарастало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось, сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах – малиновый Богородичный Цветок с коричневым липким стеблем! И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю-ю...

VIII

Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурино...

В усадьбе на восходе солнца, с первым щебетаньем птиц в саду, просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы, с радостью от солнечного утра, – других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать, – с нетерпеливым желаньем поскорее бежать в вишеник, рвать наши любимые вишни – наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе, по-утреннему, ново, скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнуемую отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна гудит земля, меж тем как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие... После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, принаравливая к натуживающейся лошади и себя, и тяжело скрипящую соху, на подвои которой лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики, или выпалывают то просо, то картошки несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят, со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валят густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями и, сгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы... Какой это непередаваемо-очаровательный звук – звук натачиваемой косы, по блестящему лезвию которой то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песку, обмокнутая в воду лопаточка! Всегда есть косец, который непременно восхитит – расскажет, что он чуть-чуть не скопил целое перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, – днем слишком сухо, сыплется зерно, – и чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы...

Много ли таких дней помню я? Очень, очень мало, утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой: жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля, – у отца, у загорелого, с кудрявой рыжей бородой старосты, крупно и валко едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на возу подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода... В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на возу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из Новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне – что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на возу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она, высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы; он, в белом картузе, в батистовой косоворотке, с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь...

IX

Помню поездки к обедне, в Рождество.

Тут все необычайно, празднично: кучер в желтой шелковой рубаше и плисовой безрукавке на козлах тарантаса, запряженного тройкой; отец с свежевыбритым подбородком и погородскому одетый, в дворянском картузе с красным околышем, из-под которого еще мокро чернеют по-старинному, косицами начесанные от висков к бровям волосы, мать в красивом, легком платье со множеством оборок; я, напомаженный, в шелковой рубашечке, с праздничной напряженностью в душе и теле...

В поле уже душно, жарко, дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит, кучер барственно обгоняет мужиков и баб, напряженных и тоже едущих к празднику. В селе весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой каменистой горы и от новизны, богатства впечатлений: в селе мужицкие дворы все большие, зажиточные, с древними дубами на гумнах, с пасеками, с приветливыми, но независимыми хозяевами, рослыми, крупными однодворцами, а под горой извивается в тени высоких лозин, усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно пахнувшая и этими лозинами, и сыростью низины, на которой растут. На противоположной горе, на которую поднимаешься, переехав каменный, затонувший в светлых струях мост, на выгоне перед церковью – цветистое многолюдство: девки, бабы, гнутые, гробовые старики в чистых свитках и шляпах-черепенниках. А в церкви – теснота, теплая, пахучая жара от этой тесноты, от пылающих свечей, от солнца, льющегося в купол, и чувство тайной гордости: мы впереди всех, мы так хорошо, умело и чинно молимся, священник после обедни подает нам целовать пахнувший медью крест прежде всех, кланяется подобострастно. Во дворе старика Данилы, ласкового лешего с сивыми кудрями, с коричневой шеей, похожей на потрескавшуюся пробку, мы после обедни отдыхали, пили чай с теплыми лепешками и медом, горой наваленным в деревянную миску, и мне на всю жизнь запомнилось, – оскорбило! – что он однажды взял прямо своими черными негнуцимися пальцами кусок текущего, тающего янтарного сота и положил мне в рот...

Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много «промотал» в Крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее «затрещит» с молотка; знал, что задонское имение уже «затрещало», что у нас уже нет его; однако у меня от тех дней все-таки сохранилось чувство довольства, благополучия. И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом, в растворенные двери, много мух и великолепных бабочек... Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время... Помню вечерние прогулки с братьями, которые уже стали брать меня с собой, их юношеские восторженные разговоры... Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легок, светел был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что все это – миры, нам неведомые и, может быть, счастливые, прекрасные, что, вероятно, и мы там будем когда-нибудь... Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами, на дворе: наваливали на телегу сена, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать от лунного света, льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее счастье спать вот так и всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет, мир и красоту деревенской ночи, родных окрестных полей, родной усадьбы...

Только одно событие омрачило эту счастливую пору, событие страшное и огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие с поля рабочих лошадей, и крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадыю в Провал, на дно Провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде илистой воронки. Работники, бра-

тя, отец – все кинулись туда, спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании: спасут ли? Но село солнце, стало темнеть, стемнело – вестей «оттуда» все не было, а когда они пришли, все притихло еще более: оба погибли – и Сенька и лошадь... Помню страшные слова: надо немедленно дать знать становому, послать стеречь «мертвое тело»... Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже знал когда-то?

Х

Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть...» Вот к подобным людям принадлежу и я.

Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о «покойниках», отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о «покойном» дяде, о «покойном» дедушке, о том, что «покойники» находятся где-то «на том свете», и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей – и привидений, иначе говоря, все тех же «покойников», оживающих и бродящих по ночам.

Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о нем, ощущение его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с ним (и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с ним было и бессмертие. Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, и я уже знал и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть – вообще еще очень нескоро, но, в частности, в любое время, особенно же накануне Великого поста. У нас в доме, поздним вечером, все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощенья; все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь Страшным судом, каким-то грозным «вторым пришествием» и, что хуже всего, «восстанием всех мертвых». А потом начинался Великий пост – целых шесть недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там – Страстная неделя, когда умирал даже Сам Спаситель...

На Страстной, среди предпраздничных хлопот, все тоже грустили, сугубо постились, говели – даже отец тщетно старался грустить и говеть, – и я уже знал, что в пятницу поставят пред алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей и что так страшно – как некое подобие гроба Христа – описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и нянька. К вечеру Великой субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал – ночью с субботы на воскресенье в мире совершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. К заутрене нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью: «Христос воскрес из мертвых» – и через некоторое время показывались «христоносцы», молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках, – эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с сознанием чести честью завершеного дела, замолкали, затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами и осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете весенней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили на сдвину-

тые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно было все это! Но, увы, было и грустно и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно, лампадка в весеннем, чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, божественное и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. И не раз видел я, с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами... О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле? О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства – и смерть...

Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по-настоящему, почувствовал ее вещественность, то, что она наконец коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши «дела и вещи», лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за риги, со стороны Провала. И долго, долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжелое и даже как будто гадкое в той стороне, и все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня с Сенькой и с бесплодными вопросами: что случилось с ним после того, как его задавило, и что он теперь такое, и почему именно в этот вечер погиб он?

XI

Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму... Но что могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную.

Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидел себя в небольшое трюмо (в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери) – и на минуту запнулся: на меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлен и даже слегка испуган той переменной, которая с каких-то пор, – может быть, за одно лето, как это часто бывает, – произошла во мне и которую я наконец внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет семи, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выраженьем лица – и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидел (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выражение: внезапно увидел, одним словом, что я уже не ребенок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему...

И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, – что уже само по себе означало не малое, – и совпало с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое ученье. Я перенес первую тяжелую болезнь. Пережил новую смерть – смерть Нади, потом смерть бабушки...

XII

Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе в ледяной и ненастный весенний день, появился у нас снова, – когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода, то есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением, – оказался, словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Бскаковым, он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше, многих. Однако недаром был он худ, сутул, горбонос, темнолик «точно черт», как говорили про него: характер у него был сумасшедший, он, еще будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом, затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал разделительный акт, плюнул брату в лицо, крикнув, что он, «когда такое дело», знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять и уже навсегда крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь: ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужитья даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала: вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо: Бскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, – и прожил у нас целых три года, до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним.

Повышенная впечатлительность, унаследованная мной не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Бскаков чрезвычайно помог ее развитию. Как воспитатель и учитель в обычном значении этих слов он был никуда не годен. Он очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу Дон-Кихота, случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг, а что делать дальше, точно не знал, да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался всегда почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не пошел: заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью был он как-то едко молчалив, все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой, желчной любезностью, или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался, завидя меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во мне самые противоположные чувства и представления.

Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал, всегда, по своему обыкновению, прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. А та противоположность чувств

и представлений, которую он поселял во мне, проистекала из того, что для своих рассказов он чаще всего избирал, совсем не считаясь с моим возрастом, все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской низости и жестокости, а для чтения – что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях человеческой души, и я, слушая его, то горел от негодования к людям и от мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал от радостных волнений. Глаза у него были рабы, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие, выражение лица поражало своей напряженностью. И всегда, когда он ходил, или, вернее, бегал, развевались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртука, чрезвычайно старомодного. «Не желая никому быть в тягость», – у него было помешательство на этом, – он курил (и беспрестанно) только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев, а что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться: за столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он...

Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения «с негодьями», о Москве, где он когда-то учился, о дремучих, медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной Дон-Кихота, журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона... Он рисовал акварелью – и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...

ХІІІ

В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал. Я видел, как отец иногда вытаскивал из ножен его белый клинок и тер его полой архалука. Какой сладострастный восторг охватывал меня при одном прикосновении к этой гладкой, холодной, острой стали! Мне хотелось поцеловать, прижать ее к сердцу – и затем во что-нибудь вонзить, всадить по рукоятку. Отцовская бритва тоже была сталь и еще острее, да я не замечал ее. А вот при виде всякого стального оружия я до сих пор волнуюсь – и откуда они у меня, эти чувства? Я был в детстве добр, нежен – и, однако, с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом. Помню, двор был пуст, в доме почему-то было тоже пусто и тихо, и вот я внезапно увидел большую и очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком, неловко, распустив повисшее крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в кабинет, схватил кинжал, выскочил в окно... Грач, когда я настиг его, вдруг замер, с ужасом в диком блестящем глазу откинулся в сторону, прижался к земле и, широко раскрыв и подняв клюв, ощерясь, зашипел от злобы, решив драться со мной, видимо, не на живот, а на смерть... Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием, я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все-таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мной, в кровь изодравшего мне руки, и зарезал с страшным удовольствием!

А сколько раз лазил я с Баскаковым на чердак, где, по преданиям, будто бы валялась какая-то дедовская или прадедовская сабля? Карабкались мы туда по очень крутой лестнице, в полутьме, согнувшись. Так же пробирались и дальше, шагая через балки, матицы, груды золы и мусора. Было по-чердачному тепло и душно, пахло остывшим дымом, сажей, печами. В мире было небо, солнце, простор, а тут – сумрак и что-то задавленное, дремотное. Полевой ветер вольно шумел вокруг нас по крыше, а сюда его шум доходил глухо, превращаясь в какой-то иной, колдовской, зловещий... Сумрак понемногу редел, мы обходили кирпичный боров и шею трубы и при свете, падавшем из слухового окна, без конца шатались взад и вперед, заглядывали под балки, под косо лежавшие над ними пыльные стропила, рыли золу, то серую, то фиолетовую, в зависимости от места, от освещения... Если б нашлась эта сказочная сабля! Я бы, кажется, задохнулся от счастья! А меж тем на что она мне была? Откуда взялась моя страстная и бесцельная любовь к ней?

Впрочем, ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало, и я уже чувствовал это.

Устав от бесплодных поисков, мы отдыхали. Станный человек, деливший их со мной, человек, зачем-то дотла разоривший свою жизнь и бесцельно мотавший ее по свету, единственный, кто понимал мои бесцельные мечты и страсти, садился на матицу, крутил сигарку и, думая свое, что-то бормотал себе под нос, а я стоял, глядел в слуховое окно. Теперь на чердаке было совсем почти светло, особенно возле окна, и шум ветра не казался в нем таким зловещим. Но все же мы были тут сами по себе, а усадьба сама по себе, и я представлял ее себе, ее мирно текущую жизнь, как посторонний. Прямо подо мной, в солнечном свете, разнообразно круглились серо-зеленые и темно-зеленые верхушки сада, на которые так странно было глядеть сверху. Их осыпали оживленным треском воробы, они, внутри тенистые, сверху стеклянно блестя под солнцем, а я глядел и думал: для чего это? Должно быть, для того только, что это очень хорошо. За садом и за полями, простиравшимися за ним, на самом горизонте, синело, подобно далекому лесу, Батурино, и там, неизвестно зачем, уже восемьдесят лет жила в своей старосветской усадьбе, в доме с высочайшей крышей и цветными стеклами, бабушка, мать матери. Левее все сияло в солнечной пыли; там, за лугами, были Новоселки, то есть лозины,

огороды, скудные мужицкие гумна и ряд жалких изб вдоль длинной улицы... Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пуньки, пузатые младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики? И зачем уходил туда почти каждый день к Сашке брат Николай? Только затем, что ему было почему-то приятно видеть ее ласковое и скромное лицо, милый круглый вырез белой миткалевой рубашки вокруг шеи, длинный стан и босые ноги... Этот вырез и мне нравился и тоже возбуждал какое-то томящее чувство: хотелось что-то с ним сделать, но было непонятно, что именно и зачем?

Да, в те дни больше всего пленяла таившаяся на чердаке сабля. Но нет-нет вспоминалась и Сашка, к которой я однажды, когда она как-то пришла в усадьбу и, стоя с опущенной головой у крыльца, что-то робко говорила матери, вдруг испытал что-то особенно сладостное и томящее: первый проблеск самого непонятного из всех человеческих чувств...

XIV

Дон-Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палахом по плечу коленапоклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах А. К. Толстого есть такие строки: «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты XII века. И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня забилося сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из Выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и донныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошел в костел, хотя это был всего-навсего костел в Витебске! Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы...

А за Дон-Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир океанский, тропический. Уж к этому-то миру я несомненно некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне и во «Всемирном путешественнике», а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними – все чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле нее в райской тишине сонного послеполуденного часа. Какие сладкие и яркие виденья и какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками! Пьер Лоти рассказывает о том «волнующем и чудодейственном», что заключалось для него в детстве в слове «колонии». Но ведь он говорит: «Il y avait une quantité de choses des colonies chez cette petite Antoinette: un perroquet, des oiseaux de toutes couleurs dans une voliere, des collections de coquilles et d'insectes, Dans les tiroirs de sa maman, j'avais vu de bizarres colliers de graines pour parfumer; dans les greniers on trouvait des peaux de betes, des sacs singuliers, des caisses sur lesquelles se lisaient encore des adresses de villes des Antilles...¹ А что же подобное могло быть в Каменке?

В книге «Земля и люди» были картинки в красках. Помню особенно две: на одной – финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида, на другой – пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшегося своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке – и весь сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Все это – и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на фоне двух резко бьющих в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини и ярко-желтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем

¹ У моей маленькой Антуанетты было множество вещей из колоний: попугай, птицы всех окрасок в вольере, коллекции раковин и насекомых. В туалетном столике ее матери я видел удивительное ожерелье из ароматических зерен. На чердаке, куда мы иногда забирались, лежали звериные шкуры, странные мешки и ящики, где можно было еще прочесть адреса городов на Антильских островах... (фр.).

своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованиях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках, мне оставалось только говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад!

XV

Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор – какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «ученый» кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалка, и «на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и «ученый» в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрерывных движений («и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом»), и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей», – только следы, а не самые звери! – и это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом – сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:

Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать рыцарей прекрасных
Чредой из волн выходит ясных,
И с ними дядька их морской...

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть». Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав». Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей...». А «Страшная месть»!

«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости...»

«Приехал и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодою женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец...»

И дальше:

«Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чашу сосен... Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны...»

А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка: «На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды» (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она «замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи...».

Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой – и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса.

«Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройти, не сыщешь ни одного козака...»

Да, вот это было мне нужно!

«Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегаящей к Днепру. Невысокие у него хоромы; хата на вид как у простых козаков, и в ней одна светлица... Вокруг стен, вверху, идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копыя... Под стеною, внизу, дубовые, гладко вытесанные лавки; возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило, на лежанке старая прислужница; в люльке тешится и убаюкивается малое дитя; на полу покотом ночуют молодцы...»

Несравненной всего – эпилог:

«За пана Степана, князя Семиградского, жило два козака: Иван да Петро...»

«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, – чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в него. В минуту осуществления его торжества и его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу и к ближнему...

XVI

Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего вымышленной.

Подлинная жизнь была бедна.

Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я.

Колонии! Я знал только «колониальную» лавку в Рождестве. Для меня все колониальное заключалось в корице, которой сдабривали на Страстную пасху, да в черных блестящих рожках, приторный вкус которых я узнал, побывав на Рождестве на ярмарке, да в ярлыках (херес, мадера) на бутылках в тонких проволочных сетках, которыми я забавлялся, растягивая их так и этак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому что отец опять стал запивать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь: в церкви. Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, лаптям, посконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пенью жаворонков, к писку цыплят, к кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым Саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми, веющими ризами, золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко пылающие светлым, золотым костром, косо и обильно наставленные перед Праздником и друг друга растопляющие тонкие восковые свечи, громкое и нестройное пенье дьячка и пономаря, ризы священника и дьякона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном, поклоны и кажденья ладаном, его пряный дым, густо восходящий из кадила, ловко взлетающего вверх и бряцающего серебряными цепочками, – все казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу...

Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему, в самом деле, влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа помещика, и без того с каждым годом все скудевшего? Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босяком, юродом? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебной краткий срок?

Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни: душа ее была в непрестанном и высоком напряжении, царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приуготовленье к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец, Баскаков? Что сделал с своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что делал над собой, над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица небесная, отец? А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства? Брат Николай ради Сашки и прелестей деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему: стал однажды Николай

рисовать мне мое будущее, – ну, что ж, сказал он, подшучивая, мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что накопишь, купишь домик, – и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался...

XVII

В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь, – впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах, – в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании; испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить; а затем – целые дни и ночи как бы несуществования, иногда только прерываемого снами, виденьями, чаще всего безобразными, нелепо-сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая, в распаде, в яростном борении с самой собой, гибнет среди чего-то горячечного, пламенного (несомненно, послужившего для человеческих представлений об адских муках). Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя порой и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то, вместо спальни, темный и мрачный овин, где, от свечи, поставленной на пол за изголовье кровати, неслись и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений! И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения во ад на землю, в ее простую, милую и уже знакомую юдоль! Почему-то в это время я с особенным наслаждением ел черный хлеб, один запах которого приводил меня в восторг и который, по деревенской простоте, давали мне.

Затем умерла Надя – месяца через два после моей болезни, после Святков. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море, дом был полон гостей... Мать была счастлива: высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на Святки приехал. Как вдруг, среди всего этого веселого безобразия, захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытьи, горела, и в детской было все то же: завешенные окна, полумрак, свет лампадки... За что именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово – «кончается» – раздалось для меня впервые поздним зимним вечером, в глуши темных снежных полей, в одинокой усадьбе! А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел: в зале на столе, в лампадном могильном свете, лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами... Более волшебной ночи не было во всей моей жизни.

А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни, мать сидела возле раскрытого окна, в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбара выскочил какой-то незнакомый мужик, верховой, и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицаньем ударила по подоконнику ладонью... Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, – увы, уже знакомая мне, – работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец – одеваться... Нас, детей, они, слава Богу, с собой не взяли...

XVIII

Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя уstraшенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилаcь за помощью, за спасеньем к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно – в тайную мольбу к нему, в непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне то же убежище:

– Поусердней надо молиться Богу, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя! О Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, – говорила она, плача, – она теперь в раю, с ангелами...

И вот я вступил в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму: мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горящей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными власами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская, о киевских пещерах, где почивут сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола... Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только воду, ел только черный хлеб...

И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить – как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи, – трудно было не развлекаться ими среди «земных метаний» и коленопреклонений, уже не дававших прежних, полных и искренних молитвенных восторгов! Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживленьем, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой, молодой жизни, и в комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью, слышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей... Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи, стали заводить свои дремотные, мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный, теплый дождь... и опять, опять ласково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятия вечно обманывающая нас земля...

XIX

В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алеши не стало – теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии.

К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мной зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел – вполне под стать веселой, сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась – даже для матери и няньки – только в прекрасное воспоминание, в представление о младенчески-ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители; мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде, – иногда даже с улыбками, – они, случалось, и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась; даже более: ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома: во-первых, Батурино принадлежало теперь нам, что очень поправляло наши дела, а, во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего былого, кочевых времен.

По рассказам матери, я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда: майский день, уютный двор, окруженный старинными службами, старинный дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно-синие и багряные верхние стекла в окнах зала – и под ними, на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чепце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит «черничка», опрятная пожилая отроковица, и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой назвал серафическим... Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне. Но уже только неприятна – не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это туда приеду я в первый раз на каникулы – уже, Бог даст, второклассником – и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей.

Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом, находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих, городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах; то и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня; но сейчас же я с радостью говорил себе: все это еще так не скоро! – и с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем: я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга... Больше всего меня ободрял и ободрял картинами этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне совсем необыкновенным существом: был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь, а студент императорского Московского университета, с золотой медалью кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить.

В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. Когда слышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», – решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», – через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился – пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я еще не выдержу...»

Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили «четко и красиво» написать: «снег бел, но не вкусен», да прочесть наизусть: «Румяной зарею покрылся восток...» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошел до пробуждения стад «на мягких лугах», как меня остановили, – верно, учителю (рыжему, в золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это пробуждение, и он поспешно сказал:

– Ну, прекрасно, – довольно, довольно, вижу, что знаешь...

Да, брат был прав: в самом деле «ничего особенно страшного» не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!

Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, – все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной, трехэтажное здание гимназии за высокой оградой, в глубине большого мощеного двора, я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Не удивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену.

После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, – он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, – у меня еще более. Все вышло отлично: и выдержал, и целых три недели свободы впереди! Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на три недели, а я почувствовал только одно: слава Богу, целых три недели! – точно этим трем неделям и конца не предвиделось.

– Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному – и обедать! – весело сказал отец, выходя из гимназии.

И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в «шапочное заведение», где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком порядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату, какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде: старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз, – в общем, нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне наконец превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся – на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец:

– И на черта ему эти амаликитяне?

XX

Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с патронами, перекинул через плечо ягдташ, снял со стены двустволку, кликнул меня, потом свою любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по жнивью вдоль дороги на пруд.

Отец был в одной пестренькой косоворотке и в белом картузе, я, несмотря на жаркую, сухую погоду, в гимназическом. Отец, рослый, сильный, легко шел своим твердым шагом впереди, шурша по желтой щетке жнивья и пуская через плечо дым папиросы, я поспешил сзади, держась правой стороны, как и полагается по правилам охоты, соблюдать которые мне доставляло большое удовольствие. Он поощрительно посвистывал, и Джальма со сдержанной горячностью, мелко и часто мотая, дрожа тугим хвостом, вся превратясь в слух, зрение и чутье, быстрым, извилистым поиском тянула перед нами. Поля были уже пусты, просторны, но еще по-летнему светлы и веселы. Горячий ветерок то совсем упал, – и тогда припекало, слышно было, как горячо сипят, часиками стучат, куют кузнечики, – то дул мягким сухим зноем, усиливался, летел мимо нас и вдруг игриво взвизывал по наезженной за рабочую пору дороге облачко пыли, подхватывал, крутил ее и винтом, воронкой лихо уносил вперед. Мы зорко следили за Джальмой, тянувшей однообразно и споро, незаметно уведившей нас за собой все дальше. Время от времени она вдруг замирала, вся подавшись вперед, и, подняв правую лапу, впивалась глазами в то, невидимое нам, что было перед нею. Отец негромко ронял: «Пиль!» – она кидалась на это невидимое, и тотчас же – ффрр! – тяжело и неловко (от жиру) вырывался из-под нее крупный кургузый перепел и, не успев пролететь и пяти шагов, комом падал опять в жнивье под выстрелом. Я бежал, подбирая его, клал отцу в ягдташ...

Так прошли мы все ржаное поле, потом картофельное, миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестящий своей удлиненной поверхностью вправо от нас, в ложине среди голых, выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то бесприютно, на юру, в раздумье, сидели грачи. Тут отец поглядел и сказал, что вот уже и грачи по-осеннему стали собираться на советы, подумать об отлете, и меня на минуту опять охватило чувство близкой разлуки не только с уходящим летом, но и со всеми этими полями, со всем, что было мне так дорого и близко во всем этом глухом и милом краю, кроме которого я еще ничего не видал на свете, в этой тихой обители, где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире не ведомое и никому не нужное младенчество, детство...

Потом мы взяли левее, пошли на Заказ, по межам среди необозримой черной пашни, которую скородили. Это было все еще наше поле, и одну борону влек по сухим комьям сухого чернозема гнедой стригун, когда-то, еще тонконогим сосуном, у которого еще шелковисто кудрявилась репка хвоста, подаренный мне, а теперь бессовестно, без спросу, без моего разрешения уже пущенный в работу. Дул жаркий ветерок, над пашней блестело августовское солнце, еще как будто летнее, но уже какое-то бесцельное, а стригун, уже очень выросший, высокий, – хотя высокий еще как-то странно, по-мальчишески, – покорно шел по пашне, таща веревочные постромки, и за ним виляла, прыгала решетка бороны, разбивавшая землю косыми железными клевцами, и, неумело держа веревочные вожжи в обеих руках, ковылял подросток в лаптях. И я долго смотрел на эту картину, опять чувствуя непонятную грусть...

Заказ был довольно большой полевой лес, принадлежавший полусумасшедшему помещику, который одиноко и враждебно всему миру, точно в крепости, сидел в своей усадьбе возле Рождества, охраняемой свирепыми овчарками, вечно судился с рождественскими и новосельскими мужиками, никогда не сходил с ними в ценах на работу, так что нередко случалось, что у него оставались целые косяки хлебов некошенными или до глубокой осени гнили в поле, а потом гибли под снегом тысячи копен. Так было и теперь. Мы шли к Заказу по некошенным желтым овсам, перепутанным и истоптанным скотиной. Тут Джальма подняла еще несколько

перепелов; я опять бегал, поднимал их, и мы опять шли дальше, обходя Заказ по густому просяному полю, шелковисто блестящему под солнцем своими коричневыми, склоненными к земле кистями, полными зерна, которые особенно сухо и звонко, бисером шумели под нашими ногами. Отец расстегнул ворот, покраснелся, – ужасная жара, и ужасно пить хочется, пойдем в Заказ на пруд, сказал он. И, перепрыгнув через канаву, которая отделяла поле от лесной опушки, мы пошли по лесу, вошли в его августовское, светлое, легкое, уже кое-где желтеющее, веселое и прелестное царство.

Птиц было уже мало – одни дрозды стаями, с веселым, притворно-яростным взвизгиванием и сытым квохтаньем перелетали там и сям; в лесу было пусто, просторно, лес был не частый, далеко видный насквозь, солнечный. Мы шли то под старыми березами, то по широким полянам, на которых вольно и свободно стояли могучие ветвистые дубы, уже далеко не такие темные, как летом, с поредевшей и подсохшей листвой. Мы шли в их пестрой тени, дыша их сухим ароматом, по скользкой, сухой траве и глядели вперед, где жарко сияли более открытые поляны, а за ними канареечно желтела и трепетала небольшая чаща молодой кленовой поросли. Когда мы вошли на тропинку, пролежавшую среди этой чащи к пруду, из подседа, из лапчатых орешников, вдруг с треском вырвался почти из-под ног у нас золотисто-рыжий вальдшнеп. Отец был так поражен столь ранним гостем, что даже растерялся, – выстрелил, разумеется, мгновенно, но промахнулся. Подивившись, откуда мог взяться в такую пору вальдшнеп, и подосадовав на промах, он подошел к пруду, положив ружье, присел на корячки и стал горстями пить. Потом, с удовольствием отдуваясь и вытирая рукавом губы, лег на берегу и закурил. Вода в пруде была чистая, прозрачная, особенная лесная вода, как есть вообще нечто особенное в этих одиноких лесных прудах, почти никогда никем, кроме птицы и зверя, не посещаемых. В ее светлой бездонности, похожей на какое-то зачарованное небо, спокойно отражались, тонули верхушки окружавшего ее березового и дубового леса, по которому с легким лепетом и шорохом тянул ветер с поля. И под этот шорох, лежа с подставленной под голову рукой, отец закрыл глаза и задремал. Джальма тоже напилась в пруде, потом бухнулась в него, немножко проплыла, осторожно держа голову над водой с повисшими, как лопухи, ушами, и, внезапно повернув назад, как бы испугавшись глубины, быстро выскочила на берег и крепко встряхнулась, осыпав нас брызгами. Теперь, высунув длинный красный язык, она сидела возле отца, то вопросительно посматривая на меня, то нетерпеливо оглядываясь по сторонам... Я встал и, гуляя, побрел среди деревьев в ту сторону, откуда мы подходили к лесу по овсяному полю...

XXI

Там, за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я тоже лег на землю, на скользкую траву, среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых, солнечных деревьев, в легкой тени двух сросшихся берез, двух белоствольных сестер в сероватой мелкой листве с сережками, тоже подставил руку под голову и стал смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на это облако. Мягко тянуло с поля сушью, зноем, светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, усиливался, и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле и в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо...

Что я думал, если это только были думы? Я думал, конечно, о гимназии, об удивительных людях, которых я видел в ней, которые назывались учителями и принадлежали как бы к какой-то совсем особой породе людей, все назначение которых – учить и держать учеников в вечном страхе, и меня охватывал недоуменный ужас, зачем везут меня в рабство к ним, разлучают с родным домом, с Каменкой, с этим лесом... Я думал о стригуне, которого я видел в бороне на пашне. Я смутно думал так: да, вот как все обманчиво на свете, – я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спросив меня, как своей собственностью... да, вот был тонконогий мышастый жеребенок, трепетный, пугливый, как все жеребята, но и радостный, доверчивый, с ясными черносливыми глазами, привязанный только к матери, всегда со сдержанным удовольствием и лаской ржавшей при виде его, во всем же прочем бесконечно вольный, беззаботный... этого жеребенка мне в один счастливый день подарили, навсегда отдали в мое полное распоряжение, и я радовался на него некоторое время, мечтал о нем, о нашем с ним будущем, о близости, которая не только будет, но уже образовалась между нами оттого, что мне его подарили, а потом стал понемногу забывать о нем – и мудрено ли, что и все забыли, что он мой? Я ведь в конце концов совсем забыл о нем, – вот как забуду я, верно, и Баскакова и Олю, и даже, может быть, отца, которого я сейчас так люблю, с которым такое счастье ходить на охоту, да забуду и всю Каменку, где мне знаком и дорог каждый уголок... И прошло два года, – точно их и не бывало никогда! – и где он теперь, этот глупый и беспечный жеребенок? Есть трехлеток, стригун – и где его прежняя воля, свобода? Вот он уже ходит в хомуте по пашне, таскает за собой борону... И разве не случилось и со мной того же, что с этим жеребенком?

На что мне были амаликитяне? Я то и дело ужасался и дивился, но что ж я мог? Облако из-за берез блистало, белело, все меняя свои очертанья... Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом убежал куда-то... Куда, зачем? И можно ли было остановить его? И я закрывал глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! И город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства – все сон! Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все-таки счастливый, легкий...

И как бы подтверждая это, за мной вдруг тяжело бухнул и по всему лесу, гремящим кольцом охватывая его, раскатился выстрел, вслед за которым послышался особенно яростный взвизг и квохт, видимо, огромной стаей взлетевших дроздов и бешено-радостный лай Джальмы: стрелял проснувшийся отец. И, сразу забыв все свои думы, я со всех ног кинулся к нему – подбирать убитых, окровавленных и еще теплых, сладко пахнущих дичью и порохом дроздов.

КНИГА ВТОРАЯ

I

В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию, — по новой для меня, Чернавской дороге, — я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой, старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел, черной головней чернел большой остов, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах... В нем заключалось очарование того, что он сказал и что я почувствовал тогда? В ощущение России и того, что она моя родина? В ощущение связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему?

Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай, а потом — что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того как он наконец был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время, между Становой и нами, влево от большой дороги, шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнце и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города как бы заводную игрушку — маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма, и зеленые, желтые и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них, их окошечки, блестявшие против солнца, этот быстрый и мертвый бег колес — все было очень странно и занятно; но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое, то, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной Становой. Татары, Мамай, Митька... Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней...

II

Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы.

Вот хотя бы эта Становая. Впоследствии я не раз бывал в Становой и вполне убедился, что уже давно нет в ней никаких разбойников. Однако никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее, все казалось, что недаром обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем – пресловутый Становлянский верх. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему, в какое бы время года ни проезжал он ее, и не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой. Много было на Чернавском тракте славных мест – таких, где когда-то, в свой заветный час, из разных потаенных буераков и водомоин, выходили под дорогу добрые молодцы, чутким ухом заслышав в ночной тишине дальний плач колокольчика или стук простой телеги; но Становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа, и неизвестно, что было хуже: гнать ли лошадей во весь опор или вести их шагом, ловя малейший звук? Все представлялось: глядь, а они и вот они – не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым кострецам, подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно-спокойно приказывают: «Постойка минутку, купец...» И что было страшней: услышать их приказ в мирном безмолвии, в тихом сумраке летних ночных полей, или сквозь шум зимнего ветра, слепящего белой вьюгой, или под осенними ледяными и острыми звездами, в полусвете которых далеко видна чернеющая окрест мертвая земля и так страшно грохочут твои собственные колеса по застывшей, как камень, дороге?

После Становой большую дорогу пересекало шоссе, и тут была застава, слагбаум: тут нужно останавливаться и ждать, пока николаевский солдат, выйдя из траурно-полосатой будки, освободит такую же полосатую перекладину, и она, звеня цепью, медленно потянется оголовком вверх (за что нужно было платить казне две копейки дани, которую все проезжие почитали дневным грабежом). Дальше дорога шла вдоль старинной Беглой Слободы, потом мимо необозримого болота нечистот, имевшего совершенно непристойное название, и, наконец, по шоссе между острогом и древним монастырем. Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, неизвестные», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарева страшных ночных и дневных пожаров, ими запаленных, первые давали знать Москве о грядущей беде и первые ложились костями за нее. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается: в таком-то веке его «дотла разорил» один хан, в таком-то другой, в таком-то третий, тогда-то «опустошил» его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус... Вещественных исторических памятников он при таких условиях, конечно, не мог сохранить. Но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то татарский князь. А какой пахучий был этот город! Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными церквями, блестящими вдали в огромной низменности, уже пахло: сперва болотом с непристойным названием, потом коженными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в

базарные дни станом стояли съезжавшиеся на торг мужики, а там уж и не разберешь чем: всем, что только присуще старому русскому городу...

III

В гимназии я пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой и бедной среде: попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались.

Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, которых я, барчук, считал, конечно, очень низкими и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной, – уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринаского помещика, рыжий мальчик Глебочка; но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений, он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью поглядывая на меня исподлобья, да и я не спешил навязываться в дружбу к нему – между прочим и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше: я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона, на высокой колокольне, поднимавшейся вдали за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пело и играло что-то... Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину, – «терпеть не могу этого чертового уныния!». Но тут огня не зажигали, за стол когда попало не садились – тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь: огонь зажгли, когда уже совсем стемнело и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутый серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя, и для других твердые правила, какой-то «не нами, глупцами, а нашими отцами и дедами» раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме, в его семье (состоявшей из миловидной и спокойной жены, двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и шестнадцатилетнего сына) неизменно царил то, что было его суровым и благородным духом: безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове... Теперь в эти грустные сумерки, хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукодельем, осторожно ждали его к ужину. И как только стукнула наружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови.

– Маня, Ксюша, накрывайте, – негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню.

Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно-приветливое жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он не спеша вытер руки, с сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову, – она при этом радостно вспыхнула, – и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол...

Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне – и не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом, на деревянном круге, серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам – соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что, так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал:

– Надо ко всему привыкать, барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету...

И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полно-весно и внушительно, – и тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии: гордостью.

IV

Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли Ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидел, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое: то, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалась в ту пору особенно и не только в одном нашем городе...

Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и, однако, то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один Ростовцев говорит в таком роде, то и дело слышал эти мнимо-смирненные речи, – мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит, – а теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, – как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланясь; с игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным; но что все-таки преобладало?

Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом:

– Что нам векселя! Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было, записывал торговый человек, кто сколько ему должен, вот вроде этого, простым мелом на притолоке. Пропустил должник срок в первый раз, торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой – остерегал: ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз, а то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дуже стыдно будет!

Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был «кулак», но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать: справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам, своим нахлебникам, и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь:

– А стихи вам нынче задавали?

Мы говорили:

– Задавали.

– Какие же?

Мы бормотали:

– «Небо в час дозора – обходя луна – светит сквозь узоры – мерзлого окна...»

– Ну, это чтой-то не складно, – говорил он. – «Небо в час дозора обходя луна» – я этого чтой-то не понимаю.

Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали вниманья на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно. И мы не знали, что сказать, а он опять спрашивает:

– А еще?

– А еще «тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях, переломанных бурей, она кров и покой находила...».

– Ну, это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте энти, про всюнощную и «под большим шатром».

И я смущенно начинал:

«Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всюнощной, к молитве благостойной...»

Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес, вижу, даль степей расстилается...» Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешенья этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя родина православная!» – Ростовцев сжимал челюсти и бледнел.

– Да, вот это стихи! – говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. – Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш!

Прочие «торговые люди» нашего города, и большие и малые, были, повторяю, не Ростовцевы, чаще всего только на словах были хороши: не мало в своем деле они просто разбойничали, «норовили содрать с живого и мертвого», обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калекими и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, «объегоривали» их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева, – всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости Россией и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И не один Ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная!» – или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминавание «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича», – почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, «мирного и благоденственного жития», висится русская корона.

V

Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось: все кончено! Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были! Все с иголочки, все прочно, ловко, все радует: расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженных головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради... А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы, с каким-то сугубым возбуждением вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем в сборной зале, первый развод «попарно и в ногу» по классам, – ведет и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный, отставной капитан, – первая драма при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой... Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы...

Учился я легко; хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным – посредственно, отделяясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен: он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения, ходил всегда по середине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него братья за дверную ручку, за стул перед кафедрой; он был маленький, шуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство печально и тихо устремленными глазами...

Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное ученье по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до Святков, до летнего отпуска, – ах, если бы поскорей мелькали они!

VI

Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу, – меня не смеют сажать учить уроки и драть уши, как Глебочку, который становится все озлобленней и поэтому все ленивей и упрямее. В душе грусть о промелькнувшем лете, которое, казалось будет бесконечным и сулило осуществление тысячи самых чудесных планов, грусть своей отчужденности от всех, кто идет, едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок... У всех свои дела, свои разговоры, все живут своей привычной жизнью взрослых людей, – не то что одинокий и грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего богатства и многолюдства: он и так богат, круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем, теперь же и того богаче – с утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи, с утра до вечера идет по всему городу ссыпка хлеба, базары и площади завалены целыми горами всяких плодов земных. То и дело встречаешь мужиков, которые спешат посередине улицы с громким говором довольных, отдыхающих людей, обделавших наконец все свои городские дела, уже дернувших по шкалику и теперь, на ходу, по дороге к своим телегам, закусывающих «подрукавничком». С оживленным говором идут по тротуарам и те, что весь день обрабатывали этих мужиков, – загорелые, запыленные, вечно бодрые мещане-перекупщики, с утра выходящие в город навстречу мужикам, друг у друга их перебивающие и потом разводящие за собой по базарам и лабазам; они тоже отдыхают теперь, направляются по трактирам попить чайку. А прямая, как стрела, Долгая улица, ведущая вон из города, к острогу и монастырю, тонет в пыли и слепящем блеске солнца, заходящего как раз в конце ее пролета, и в этом пыльном золоте течет поток идущих и едущих, возвращающихся с рысистых бегов, которыми тоже знаменит город, – и сколько тут франтов из всяких писцов и приказчиков, сколько барышень, разряженных, точно райские птицы, сколько щегольских шарабанов, в которых красуются перед народом толстозадые купчики, сидя рядом со своими молодыми женами и сдерживая своих рысачков! А в соборе звонят ко всенощной, и бородатые, степенные кучера везут в тяжелых и покойных колясках, на раскормленных лошадях, старых купчих с восковыми свечами в руках, поражающих или желтой пухлостью и обилием драгоценностей, или гробовой белизной и худобой...

Вот «табельный» день, торжественная обедня в соборе. Наш капитан, перед тем как вести нас, собравшихся во дворе гимназии, осматривает каждую нашу пуговицу. Учителя – в мундирах, в орденах, в треуголках. Идя по улицам, мы с удовольствием чувствуем, что прохожие смотрят на нас как на что-то казенное, полувоенное, принимающее непосредственное участие во всем том параде, которым должен быть ознаменован этот день. К собору отовсюду сходятся и съезжаются другие «ведомства», то есть опять мундиры, ордена, треуголки, жирные эполеты. Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола. Но вот и паперть – «шапки долой!» – и, теснясь, расстраивая ряды, мы вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала, и тысячепудовый звон ревет и гудит уже глуше, над самой головой, широко и благостно-строго встречая, принимая и покрывая тебя. Какое многолюдство, какое грузное великолепие залитого сверху донизу золотом иконостаса, золотых риз причта, пылающих свечей, всякого чина, теснящегося возле ступеней амвона, устланного красным сукном! Для отроческого сердца было все это нелегко: голова мутилась от длительности и пышности службы, от этих чтений, каждений, выходов и выносов, от зычного грома басов и сладких альтовых замираний на клиросе, изысканно щеголяющем то мощью, то нежностью, от горячей и жуткой плотности больших тел, со всех сторон надвинувшихся на тебя, от вида до ужаса скованной своим коротким мундиром и серебряным поясом кабаньей туши полицеймейстера, возвышающегося прямо над тобою...

По вечерам в такие дни город багрово пылал, дымился и вонял плюшками, расставленными по тротуарам, дома, украшенные флагами, горели в темноте огненно-сквозными вен-

зелями и коронами, – это, среди моих первых городских впечатлений, одно из самых памятных. Тогда в городе бывало большое гулянье. И вот сын Ростовцева, – он был тоже гимназист, шестиклассник, – однажды взял нас с Глебочкой на такое гулянье в городской сад, и меня поразила несметная, от тесноты медленнодвигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и дешевыми духами, меж тем как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры военный оркестр. Ростовцев в этой аллее вдруг остановился, лицом к лицу столкнувшись с хорошенькой барышней, шедшей навстречу нам с подругами, и, покраснев, шутя щелкнул каблуками и отдал ей честь, а она вся озарилась под своей затейливой шляпкой откровенно-радостной улыбкой. Перед раковиной, на площадке, бил среди большого цветника, орошая его прохладным водяным дымом, раскидистый фонтан, и мне навсегда запомнилась его свежесть и прохладный, очаровательный запах обрызганных им цветов, которые, как я узнал потом, назывались просто «табак»: запомнились потому, что этот запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после того. Это благодаря ей, этой уездной барышне, я до сих пор не могу без волнения слышать запах «табака», а она и понятия не имела никогда обо мне и о том, что я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной музыки, как только слышал этот запах...

VII

А вот и первые холода: скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топил печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый, наследственный быт, которым он живет столетия, – повторяемость времен года и обычаев.

– Гуси летят, – с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. – Сейчас целый косяк видел... Купил у мужика два воза капусты, прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста, кочан к кочану...

И на душе у меня делается хорошо и так грустно, грустно. Я оставляю Вальтера Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь – мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там, при въезде в него, – древний мужской монастырь... все говорят, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха, всегда есть за образом и водочка и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны, я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно-восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары: я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке... Затем, если идти от монастыря назад, в город, по Долгой улице, то влево будут бедные и грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи: он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, остро и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, – могучих, невероятно сальных и грубых... это тоже очень старинные места, им лет триста, четыреста, и меня томит желание и о них, об этих мерзких местах, сказать, выдумать что-то чудесное... Дальше, за притоком, – Черная Слобода, Аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущая под ними на далекий юг, к низовьям Дона, река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь: о нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах; его, говорят, покларала чудотворная икона Божьей матери, и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи, – тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампы и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шали, крепко прижав щепоть ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстия которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше небольшой и такой же темный средневековый лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевным, колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах... А за рекой, за городом, широко раскинулось на низменности Заречье: это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой вдаль, туда, куда косяком тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном, звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами, – жареных пирожков, самоваров, кофе, – смешанными с запахом каменноугольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России...

Я помню немало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и домашним уютом, и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мешанских комнаток, спокой-

ствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комодике Любови Андреевны, покрытом вязаной скатерткой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев, – шли медленно, однообразно и вдруг сразу обрывались: в некие особенно печальные сумерки неожиданно хлопала наружи калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей – и внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке с наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые теплые губы под холодными и влажными с морозу усами и с восторгом чувствуя: Боже, как не похож он ни на кого во всем городе, какой он совсем, совсем другой, чем все прочие!

VIII

Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена, – тут к ней примыкал базар и находилось все, что полагается: трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы, между прочим, и та, что стояла на углу Долгой, – Дворянская, недаром называвшаяся так: в ней останавливались только помещики, из окон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанный-кухонный чад, видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда – широкую лестницу, устланную красным сукном.

Отец в мои гимназические годы переживал свой последний подъем: переселившись в Батурино, заложив его и продав Каменку, – все будто бы с мудрыми хозяйственными планами, – он опять чувствовал себя богатым барином и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот, когда он приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на два, три дня совсем в другой мир, опять на время становился барчуком, которому все улыбались, кланялись – и «резвые» у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и белом галстуке, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отведавший на своем веку – и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, – а теперь достойно и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то Дворянской гостинице, где даже настоящие хорошие господа только притворялись теперь господами, а прочие – просто «уездные моншеры», как он называл их, люди с преувеличенно-барскими замашками, с подозрительно-развязной требовательностью, с низкими больше от водки, чем от барства, голосами.

– Здравствуйте, Александр Сергеич, – наперебой кричали отцу «резвые» у подъезда Дворянской. – Извольте приказать обождать, – может, в цирк вечером поедете?

И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли будто бы прежнего, богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя извозчиков возле Дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого смысла платить за обождание.

А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех, кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, черт возьми, графу, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленное восклицанье, притворно-радостно выкатывал ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великан в дохе, похожий на мужика и на удельного князя, и отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку:

– Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь! Сердечно будем рады!

А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, который хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно (хотя родства между нами совсем не было) кричал еще издали:

– Дядя, дорогой, сколько лет, сколько зим! А я слышу: «Арсеньев, Арсеньев», – а ты ли это, не знаю... Здравствуйте, милая тетя, – говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его в висок, – здравствуй, Александр, – живо обращался он ко мне, как всегда, перевирая мое имя, – да ты совсем молодец стал! А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу, жду эту анафему Кричевского – обещал дать для уплаты в банк, а сам, черт его знает зачем, в Варшаву сбежал и когда назад будет, один Мордахай ведает... Ты что, уже обедал? Пойдем вниз, там целое собрание...

И отец радушно целовал его и ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе, тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин... Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш! Как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся! До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу:

– Но неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?!

А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Труцци, резко и приятно вонявшем всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко, попугаями, вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштантные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами, за ними тяжело вырывалась старая белая лошадь, на широчайшей вогнутой спине которой стоя нес-лась вся осыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико, с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, ивушка, зеленая моя», чернобородый красавец директор во фраке, ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь посреди арены, равномерно и чудесно стрелял длинным бичом, лошадь круто, упрямо выгнув шею, вся завалившись вкось, тяжким галопом мчалась по самому краю круга, женщина выжидательно пружинила на ней и вдруг с каким-то коротким, кокетли-вым криком взвивалась и с треском прорывала бумажный щит, вскинутый перед ней шталмей-стерами в камзолах. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала наконец с лошади на изры-тый песок арены, с чрезвычайнейшей грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и, под бурю аплодисментов, с преувеличенной детскостью, уносилась за кулисы, музыка вдруг смолкала (хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене с видом бес-приютных дурачков, картаво кричали: «Еще полпорции камаринского!») и весь цирк замирал в сладком ужасе: шталмейстеры с страшной поспешностью бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку, а за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык, точно там кого-то мучительно тошнило, рвало, и затем такой мощный, царственный выдох, что до основания сотрясался весь шатер братьев Труцци...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.